

dtv

Sevilla, 16. Jahrhundert: Die so lange herbeigesehnte Wiederkehr des auferstandenen Christus ereignet sich zu einem Zeitpunkt, als in Spanien die Inquisition den Höhepunkt ihrer Macht erreicht hat. Der Kardinal Großinquisitor lässt durch seine Wachsoldaten den Gottessohn aus der um ihn versammelten Menge heraus festnehmen und klagt ihn des leichtfertigen Freiheitsversprechens an die Menschheit an. Können die Menschen überhaupt frei sein? Und wollen sie es denn? Sind sie nicht froher, wenn sie von einer strengen, gerechten Obrigkeit geführt werden? Die Legende, die innerhalb des Romans *Die Brüder Karamasow* erzählt wird, ist ein profunder Essay in Gestalt einer spannenden Szene – mit dem befremdlichsten Kuss der Welt.

Der berühmte Text von Fjodor Dostojewskij (1821–1881) liegt hier in russisch-deutschem Paralleldruck vor. Rosemarie Tietze, mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, erschließt durch ihre Übersetzung in bisher kaum erreichter Konsequenz die auch literarisch-stilistisch bedeutende Vielschichtigkeit des Werkes.

Fjodor Dostojewskij
Великий инквизитор
Der Großinquisitor

Deutsch von Rosemarie Tietze

Deutscher Taschenbuch Verlag

dtv zweisprachig

**Ausführliche Informationen über
unsere Autoren und Bücher
finden Sie auf unserer Website
www.dtv.de**



Durchgesehene Neuauflage 2006

2. Auflage 2013

© Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG,
München

zweisprachig@dtv.de

Der Band war zuvor unter den Nummern dtv 9174 (1981)
und dtv 9307 (1993) erschienen.

Umschlagkonzept: Balk & Brumshagen

Umschlaggestaltung: Claudia Danners unter Verwendung
eines Gemäldes von El Greco (Bridgeman Giraudon)

Satz: KOMDATA, Nobber

Druck und Bindung: Druckerei C. H. Beck, Nördlingen

Gedruckt auf säurefreiem, chlorfrei gebleichtem Papier

Printed in Germany · ISBN 978-3-423-09464-1

– Ведь вот и тут без предисловия невозможно, то есть без литературного предисловия, тьфу! – засмеялся Иван, – а какой уж я сочинитель! Видишь, действие у меня происходит в шестнадцатом столетии, а тогда, – тебе, впрочем, это должно быть известно ещё из классов, – тогда как раз было в обычае сводить в поэтических произведениях на землю горные силы. Я уж про Данта не говорю. Во Франции судейские клерки, а тоже и по монастырям монахи давали целые представления, в которых выводили на сцену Мадонну, ангелов, святых, Христа и самого Бога. Тогда всё это было очень простодушно. В «Notre Dame de Paris» у Виктора Гюго в честь рождения французского дофина, в Париже, при Людовике XI, в зале ратуши даётся назидательное и даровое представление народу под названием: «Le bon jugement de la très sainte et gracieuse Vierge Marie», где и является она сама лично и произносит свой bon jugement. У нас в Москве, в допетровскую старину, такие же почти драматические представления, из Ветхого завета особенно, тоже совершались по временам; но, кроме драматических представлений, по всему миру ходило тогда много повестей и «стихов», в которых действовали по надобности святые, ангелы и вся сила небесная. У нас по монастырям занимались тоже переводами, списыванием и даже сочинением таких поэм, да ещё когда – в татарщину. Есть, например, одна монастырская поэмка (конечно, с греческого): «Хождение богородицы по мукам», с картинами и со смелостью не ниже дантовских. Богоматерь посещает ад, и руководит её «по мукам» архангел Михаил. Она видит грешников и мучения их. Там есть, между прочим, один презанимательный разряд грешников

« Auch hier geht es nicht ohne Vorwort ab, das heißt, ohne literarisches Vorwort, puh! » begann Iwan lachend. « Dabei, was bin ich schon für ein Schriftsteller! Siehst du, meine Handlung spielt im sechzehnten Jahrhundert, und damals – das müsstest du übrigens noch aus der Schule bekannt sein –, damals war es so üblich, in dichterischen Werken die himmlischen Mächte auf die Erde herunterzuholen. Ich will gar nicht erst von Dante reden. In Frankreich gaben die Clercs der Gerichte und auch die Mönche in den Klöstern ganze Vorstellungen, in denen sie die Madonna, Engel, Heilige, Christus und Gott selbst auf die Bühne brachten. Damals war das alles sehr naiv. In Victor Hugos *«Notre Dame de Paris»* wird, unter Ludwig XI., anlässlich der Geburt des französischen Dauphin im Pariser Rathaussaal dem Volk eine erbauliche und kostenlose Vorstellung geboten, *«Le bon jugement de la très sainte et gracieuse Vierge Marie»*, wo diese höchstpersönlich auftritt und ihr bon jugement abgibt. Bei uns in Moskau fanden in den vorpetrinischen alten Zeiten bisweilen auch solche theaterähnlichen Vorstellungen statt, vor allem aus dem Alten Testament; doch außerdem waren damals in der ganzen Welt viele Erzählungen und *«Verse»* in Umlauf, in denen, je nach Bedarf, Heilige, Engel und die ganzen himmlischen Heerscharen agierten. In unseren Klöstern gab man sich auch mit dem Übersetzen, Abschreiben und sogar Verfassen solcher Poeme ab, und zwar wann? noch unter den Tataren! Es gibt zum Beispiel so ein Klosterpoem (kommt natürlich aus dem Griechischen): *«Der Gang der Muttergottes durch die Höllenqualen»*, mit Bildern und einer Kühnheit, die der von Dante nicht nachsteht. Die Gottesmutter besucht die Hölle, und der Erzengel Michail führt sie durch die *«Qualen»*. Sie sieht die Sünder und ihre Pein. Unter anderem gibt es da eine höchst eindrucksvolle Kategorie von Sündern in einem brennenden See: Wer so tief im See versinkt, dass er gar

в горящем озере: которые из них погружаются в это озеро так, что уж и выплыть более не могут, то «тех уже забывает Бог» – выражение чрезвычайной глубины и силы. И вот, поражённая и плачущая богоматерь падает пред престолом божиим и просит всем во аде помилования, всем, которых она видела там, без различия. Разговор её с Богом колоссально интересен. Она умоляет, она не отходит, и когда Бог указывает ей на прогвождённые руки и ноги её сына и спрашивает: как я прощу Его мучителей, – то она велит всем святым, всем мученикам, всем ангелам и архангелам пасть вместе с нею и молить о помиловании всех без разбора. Кончается тем, что она вымаливает у Бога остановку мук на всякий год от великой пятницы до троицына дня, а грешники из ада тут же благодарят Господа и вопиют к Немю: «Прав ты, Господи, что так судил». Ну вот и моя поэмка была бы в том же роде, если б явилась в то время. У меня на сцене является Он; правда, Он ничего и не говорит в поэме, а только появляется и проходит. Пятнадцать веков уже минуло тому, как Он дал обетование прийти во царствии своём, пятнадцать веков, как пророк Его написал: «Се гряди скоро». «О дне же сем и часе не знает даже и Сын, токмо лишь Отец мой небесный», как изрек Он и сам ещё на земле. Но человечество ждёт Его с прежнею верой и с прежним умилением. О, с большею даже верой, ибо пятнадцать веков уже минуло с тех пор, как прекратились залюги с небес человеку:

Верь тому, что сердце скажет,
Нет залюгов от небес.

nicht mehr auftauchen kann, den <vergisst Gott bereits> – eine Wendung von außerordentlicher Tiefe und Kraft. Also, die Gottesmutter fällt, erschüttert und weinend, vor Gottes Thron nieder und bittet für alle in der Hölle um Gnade, für alle, die sie dort gesehen hat, ohne Unterschied. Ihr Gespräch mit Gott ist ungeheuer interessant. Sie fleht, sie lässt nicht ab, und als Gott sie auf die Nägelmale an den Händen und Füßen ihres Sohnes hinweist und fragt: wie kann ich Seinen Peinigern vergeben, – da heißt sie alle Heiligen, alle Märtyrer, alle Engel und Erzengel, mit ihr niederzufallen und für alle ohne Ausnahme inständig um Gnade zu bitten. Es endet damit, dass sie Gott abringt, alljährlich von Karfreitag bis Pfingsten die Qualen zu unterbrechen, und sogleich danken die Sünder in der Hölle dem Herrn und rufen zu Ihm empor: <Recht hast du, Herr, dass du so gerichtet!> Nun denn, mein Poem wäre auch von der Art, wenn es zu jener Zeit erschienen wäre. Auf meiner Bühne tritt Er auf; allerdings sagt Er in dem Poem nichts, Er taucht nur auf und geht vorüber. Fünfzehn Jahrhunderte sind schon vergangen, seit Er verheißen hat, Er werde kommen in seinem Reich, fünfzehn Jahrhunderte, seit Sein Prophet geschrieben hat: <Siehe, ich komme bald>. <Doch von dem Tage und der Stunde weiß nicht einmal der Sohn, sondern allein mein Vater im Himmel>, wie Er selbst noch auf Erden gesagt hat. Die Menschheit aber wartet auf Ihn mit dem gleichen Glauben und der gleichen Ergriffenheit wie zuvor. Oh, sogar mit noch größerem Glauben, denn fünfzehn Jahrhunderte sind schon vergangen seit der Zeit, da der Himmel aufhörte, den Menschen ein Unterpfand zu geben:

Du musst glauben, du musst wagen,
Denn die Götter leihn kein Pfand.

И только одна лишь вера в сказанное сердцем!
Правда, было тогда и много чудес. Были святые,
производившие чудесные исцеления; к иным
праведникам, по жизнеописаниям их, сходила
самая царица небесная. Но дьявол не дремлет,
и в человечестве началось уже сомнение в
правдивости этих чудес. Как раз явилась тогда
на севере, в Германии, страшная новая ересь.
Огромная звезда, «подобная светильнику» (то
есть церкви) «пала на источники вод, и стали они
горьки». Эти ереси стали богохульно отрицать
чудеса. Но тем пламеннее верят оставшиеся
верными. Слезы человечества восходят к Немю
по-прежнему, ждут Его, любят Его, надеются на
Него, жаждут пострадать и умереть за Него,
как и прежде. И вот столько веков молило
человечество с верой и пламенем: «Бо Господи
яви́ся нам», столько веков взывало к Немю, что
Он, в неизмеримом сострадании Своём, возжелал
снизойти к молящим. Снисходил, посещал Он и
до этого иных праведников, мучеников и святых
отшельников ещё на земле, как и записано в их
«житиях». У нас Тютчев, глубоко веровавший в
правду слов своих, возвестил, что

Удрученный ношей крестной
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный
Исходил благословляя.

Что непременно и было так, это я тебе скажу. И
вот Он возжелал появиться хоть на мгновение к
народу, – к мучающемуся, страдающему, смрадно-
грешному, но младенчески любящему Его народу.

Und seither – nichts als wagen und glauben, was das Herz sagt! Freilich gab es damals auch viele Wunder. Es gab Heilige, die Wunderheilungen vollbrachten; zu manchen Gerechten kam, ihren Lebensbeschreibungen nach, die Himmelskönigin selbst herab. Doch der Teufel schläft nicht, und in der Menschheit begannen sich bereits Zweifel an der Wahrhaftigkeit dieser Wunder auszubreiten. Gerade damals kam im Norden, in Deutschland, eine furchtbare neue Ketzererei auf. Ein riesiger Stern, ‹einer Fackel gleich› (das heißt der Kirche), ‹fiel auf die Wasserbrunnen, und sie wurden bitter›. Diese Irrlehren leugneten gotteslästerlich die Wunder. Um so inbrünstiger glaubten jedoch die verbliebenen Getreuen. Nach wie vor stiegen die Tränen der Menschheit zu Ihm empor, sie warteten auf Ihn, liebten Ihn, hofften auf Ihn, es drängte sie, für Ihn zu leiden und zu sterben, wie zuvor. So viele Jahrhunderte hatte also die Menschheit gläubig und inbrünstig gebetet: ‹Gott der Herr, erscheine uns›, so viele Jahrhunderte hatte sie Ihn angerufen, dass Er, in Seinem unermesslichen Mitleid, zu den Betenden herabzusteigen begehrte. Auch davor war Er mehrfach herabgestiegen, hatte manche Gerechte, Märtyrer und heilige Einsiedler noch auf Erden aufgesucht, wie es in ihren Viten geschrieben steht. Bei uns hat Tjutschew, der zutiefst an die Wahrheit seiner Worte glaubte, verkündet:

Gebeugt von Seiner Kreuzeslast
Hat dich, heimatliche Erde,
Des Himmels Herr in Knechtsgestalt
Ausgeschritten und gesegnet.

Dass dem bestimmt so war, versichere ich dir. Nun also begehrt Er, wenigstens einen Augenblick dem Volk zu erscheinen – dem sich abquälenden, leidenden, stinkend sündigen, Ihn aber kindlich liebenden Volk. Meine Hand-

Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры и

В великолéпных автодафё
Сжигали злых еретиков.

О, это, конечно, было не то сошествие, в котором явится Он, по обещанию Своему, в конце времён во всей славе небесной и которое будет внезапно, «как молния, блистающая от востока до запада». Нет, Он возжелал хоть на мгновение посетить детей Своих и именно там, где как раз затрепцали костры еретиков. По безмерному милосердию Своему Он проходит ещё раз между людей в том самом образе человеческом, в котором ходил три года между людьми пятнадцать веков назад. Он снисходит на «стогны жаркие» южного города, как раз в котором всего лишь накануне в «великолéпном автодафё», в присутствии короля, двора, рыцарей, кардиналов и прелестнейших придворных дам, при многочисленном населении всей Севильи, была сожжена кардиналом великим инквизитором разом чуть не целая сотня еретиков *ad maiorem gloriam Dei*. Он появился тихо, незаметно, и вот все – странно это – узнают Его. Это могло бы быть одним из лучших мест поэмы, то есть почему именно узнают Его. Народ непобедимою силой стремится к Нему, окружает Его, нарастает кругом Него, следует за Ним. Он молча проходит среди их с тихою улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в Его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей Его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответною любовью. Он простирает к ним

lung spielt in Spanien, in Sevilla, zur furchtbarsten Zeit der Inquisition, als zum Ruhme Gottes tagtäglich im Lande die Scheiterhaufen loderten und man

In prächtigen Autodafés
Ruchlose Ketzer verbrannte.

Oh, natürlich war das nicht jenes Herabkommen, bei dem Er, Seinem Versprechen gemäß, am Ende der Zeiten in Seiner ganzen himmlischen Herrlichkeit erscheinen wird, unversehens, ‹wie der Blitz, der leuchtet vom Aufgang bis zum Niedergang›. Nein, Er begehrt, wenigstens für einen Augenblick, Seine Kinder aufzusuchen, und zwar dort, wo gerade die Scheiterhaufen mit den Ketzern prasseln. In Seiner grenzenlosen Barmherzigkeit wandelt Er noch einmal unter den Menschen in derselben menschlichen Gestalt, in der Er vor fünfzehn Jahrhunderten drei Jahre lang unter den Menschen gewandelt ist. Er fährt herab auf die ‹glutheißen Plätze› der südlichen Stadt, wo erst am Vorabend im Beisein von König und Hof, von Rittern, Kardinälen und reizenden Hofdamen und vor der zahlreichen Einwohnerschaft von ganz Sevilla der Kardinal Großinquisitor in einem ‹prächtigen Autodafé› auf einen Schlag fast einhundert Ketzer ad majorem gloriam Dei hat verbrennen lassen. Er ist leise erschienen, unauffällig, und doch, das ist merkwürdig, alle erkennen Ihn. Das könnte eine der besten Stellen des Poems werden, ich meine, warum sie Ihn eigentlich erkennen. Mit unwiderstehlicher Macht strebt das Volk zu Ihm, umringt Ihn, die Menge um Ihn wächst, folgt Ihm nach. Schweigend durchschreitet Er sie, mit einem stillen Lächeln unendlichen Mitleids. Die Sonne der Liebe brennt in Seinem Herzen, Strahlen des Lichts, der Erleuchtung und der Kraft strömen aus Seinen Augen, ergießen sich über die Menschen und wecken Gegenliebe in ihren Her-

руки, благословляет их, и от прикосновения к Немю, даже лишь к одеждам Его, исходит целящая сила. Вот из толпы восклицает старик, слепой с детских лет: «Господи, исцели меня, да и я тебя узрю», и вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой Его видит. Народ плачет и целует землю, по которой идет Он. Дети бросают пред Ним цветы, поют и вопиют Ему: «Осанна!» «Это Он, это сам Он, – повторяют все, – это должен быть Он, это никто как Он». Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик: в нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. «Он воскресит твоё дитя», – кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу гроба соборный папер смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздаётся вопль матери умершего ребёнка. Она повергается к ногам Его: «Если это ты, то воскреси дитя моё!» – восклицает она, простирая к Немю руки. Процессия останавливается, гробик опускают на паперть к ногам Его. Он глядит с состраданием, и уста Его тихо и ещё раз произносят: «Талифа куми» – «и восста девица». Девочка подымается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь, удивлёнными раскрытыми глазками кругом. В руках её букет белых роз, с которым она лежала в гробу. В народе смятение, крики, рыдания, и вот, в эту самую минуту, вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал великий инквизитор. Это девяностолетний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых ещё светится, как огненная искорка, блеск. О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался

zen. Er streckt die Hände zu ihnen aus, segnet sie, und von Seiner Berührung, sogar von der Seines Kleides, geht heilende Kraft aus. Da ruft aus der Menge ein Greis, seit Kindertagen blind: «Herr, heile mich, so werde auch ich dich schauen», und wie Schuppen fällt es da von seinen Augen und der Blinde sieht Ihn. Das Volk weint und küsst die Erde, über die Er geht. Kinder streuen Ihm Blumen, singen und jauchzen Ihm: «Hosianna!» «Er ist es, Er selbst», sagen alle, «Er muss es sein, wer sonst außer Ihm». Er bleibt am Portal der Kathedrale von Sevilla stehen, gerade in dem Augenblick, als unter Wehklagen ein weißer offener Kindersarg hineingetragen wird; in ihm liegt, ganz in Blumen gebettet, ein siebenjähriges Mädchen, die einzige Tochter eines vornehmen Bürgers. «Er wird dein Kind auferwecken», ruft es aus der Menge der weinenden Mutter zu. Der Priester, der aus der Kathedrale dem Sarg entgegenkommt, blickt befremdet und zieht die Brauen hoch. Doch da ertönt der Klageschrei der Mutter des toten Kinds. Sie stürzt Ihm zu Füßen: «Wenn du es bist, so erwecke mein Kind!» – schreit sie, die Arme zu Ihm emporgereckt. Die Prozession hält an, der Sarg wird vor dem Portal zu Seinen Füßen herabgelassen. Er blickt voller Mitleid, und Seine Lippen sprechen leise noch einmal: «Talitha kumi» – «und alsbald erhob sich das Mägdlein». Es setzt sich im Sarg auf, lächelt und schaut mit verwunderten, weit offenen Augen um sich. In seinen Händen hält es den weißen Rosenstrauß, mit dem es im Sarg lag. Das Volk ist verwirrt, Schreien und Schluchzen wird laut, und da, in diesem Augenblick, geht plötzlich, an der Kathedrale vorbei über den Platz, der Kardinal Großinquisitor persönlich. Er ist ein fast neunzigjähriger Greis, hochgewachsen und aufgereckt, mit ausgetrocknetem Gesicht und eingefallenen Augen, aus denen es jedoch noch leuchtet wie von Feuerfunken. Oh, er trägt nicht seine prächtigen Kardinalsgewänder, in denen er gestern vor dem

вчера пред народом, когда сжигали врагов римской веры, – нет, в эту минуту он лишь в старой, грубой монашеской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его и «священная» стража. Он останавливается пред толпой и наблюдает издали. Он всё видел, он видел, как поставили гроб у ног Его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнём. Он простирает перст свой и велит стражам взять Его. И вот, такая его сила и до того уже приучен, покорён и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами, и те, среди гробового молчания, вдруг наступившего, налагают на Него руки и уводят Его. Толпа моментально, вся как один человек, склоняется головами до земли пред старцем инквизитором, тот молча благословляет народ и проходит мимо. Стража приводит пленника в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании святого судилища и запирает в неё. Проходит день, настаёт тёмная, горячая и «бездыханная» севильская ночь. Воздух «лавром и лимоном пахнет». Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик великий инквизитор со светильником в руке медленно входит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо Его. Наконец тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит Ему: «Это ты? ты? – Но, не получая ответа, быстро прибавляет: – Не отвечай, молчи. Да и что бы ты мог сказать? Я слишком знаю, что ты скажешь. Да ты и права не

Volk prangte, als die Feinde des römischen Glaubens verbrannt wurden, – nein, in diesem Augenblick trägt er nur seine alte, grobe Mönchskutte. In gewisser Entfernung folgen ihm seine finsternen Helfer und Knechte sowie die ‹heilige› Wache. Er bleibt vor der Menge stehen und beobachtet von weitem. Er hat alles gesehen, er hat gesehen, wie der Sarg zu Seinen Füßen abgestellt wurde, hat gesehen, wie das Mädchen auferstand, und sein Gesicht hat sich verfinstert. Er zieht die dichten grauen Brauen hoch, und in seinem Blick glänzt unheildrohendes Feuer. Er streckt seinen Finger aus und heißt die Wache, Ihn zu ergreifen. Und siehe da, so groß ist seine Macht, und so sehr ist das Volk bereits an Zucht gewöhnt, bezähmt und ihm furchtsam untertan, dass die Menge unverzüglich vor der Wache auseinanderweicht und diese in der plötzlich ausgebrochenen Grabesstille Hand an Ihn legt und Ihn abführt. Augenblicklich verneigt sich die Menge, wie ein Mann, bis zum Boden vor dem greisen Inquisitor, dieser segnet das Volk schweigend und geht hinweg. Die Wache bringt den Gefangenen in das enge und finstere Verlies im uralten Gebäude des heiligen Tribunals und schließt Ihn ein. Der Tag vergeht, die dunkle, heiße und ‹reglose› Nacht von Sevilla bricht an. Die Luft ‹riecht nach Lorbeer und Limonen›. Mitten in der tiefen Finsternis öffnet sich plötzlich die eiserne Kerkertür, und der greise Großinquisitor kommt mit einer Lampe in der Hand langsam herein. Er ist allein, die Tür wird hinter ihm gleich wieder geschlossen. Er bleibt am Eingang stehen und betrachtet lange, eine Minute oder zwei, Sein Gesicht. Schließlich nähert er sich leise, stellt die Lampe auf den Tisch und sagt zu Ihm: ‹Du bist es? Du?› Doch da er keine Antwort erhält, fügt er rasch hinzu: ‹Antworte nicht, schweige. Was könntest du auch sagen? Ich weiß nur zu gut, was du sagen willst. Du hast ja gar kein Recht, dem etwas hinzu-

имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришёл нам мешать? Ибо ты пришёл нам мешать и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто ты, и знать не хочу: ты ли это или только подобие Его, но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгрести к твоему костру угли, знаешь ты это? Да, ты, может быть, это знаешь», – прибавил он в проникновенном раздумье, ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего пленника.

– Я не совсем понимаю, Иван, что это такое? – улыбнулся всё время молча слушавший Алёша, – прямо ли безбрежная фантазия или какая-нибудь ошибка старика, какое-нибудь невозможное *qui pro quo*?

– Примь хоть последнее, – рассмеялся Иван, – если уж тебя так разбаловал современный реализм и ты не можешь вынести ничего фантастического – хочешь *qui pro quo*, то пусть так и будет. Оно правда, – рассмеялся он опять, – старику девяносто лет, и он давно мог сойти с ума на своей идее. Пленник же мог поразить его своею наружностью. Это мог быть, наконец, просто бред, видение девяностолетнего старика пред смертью, да ещё разгоряченного вчерашним автодафё во сто сожжённых еретиков. Но не всё ли равно нам с тобою, что *qui pro quo*, что безбрежная фантазия? Тут дело в том только, что старику надо высказаться, что наконец за все девяносто лет он высказывается и говорит вслух то, о чём девяносто лет молчал.

zufügen, was du früher gesagt hast. Weshalb bist du gekommen, uns zu stören? Denn du bist doch gekommen, uns zu stören, das weißt du selbst. Weißt du aber, was morgen sein wird? Ich weiß nicht, wer du bist, und will auch gar nicht wissen, ob du es bist oder nur Sein Ebenbild, morgen aber werde ich dich verurteilen und auf dem Scheiterhaufen verbrennen, als den ruchlosesten aller Ketzer, und eben jenes Volk, das dir heute die Füße geküsst hat, wird morgen auf einen bloßen Wink von mir herstürzen, um Kohlen zu deinem Scheiterhaufen aufzuhäufen, weißt du das? Ja, du weißt das vielleicht», fügt er hinzu, in bohrendem Nachdenken, ohne auch nur kurz den Blick von seinem Gefangenen zu wenden.

«Ich verstehe nicht recht, Iwan, was das soll», warf Aljoscha, der die ganze Zeit schweigend zugehört hatte, lächelnd ein. «Ist es einfach schrankenlose Phantasie, oder irgendein Irrtum des Greises, irgendein unmögliches Quiproquo?»

«Nimm von mir aus das Letztere an», erwiderte Iwan lachend, «wenn der moderne Realismus dich schon so verbildet hat, dass du nichts Phantastisches mehr ertragen kannst – hättest du lieber ein Quiproquo, sei es meinestwegen eines. Es ist wahr», er lachte wieder, «der Alte ist neunzig, er kann schon längst über seiner Idee den Verstand verloren haben. Der Gefangene kann ihn durch sein bloßes Aussehen in Erstaunen versetzt haben. Schließlich kann es auch einfach ein Trugbild sein, die Vision eines neunzigjährigen Greises vor dem Tod, zumal er durch das gestrige Autodafé mit hundert verbrannten Ketzern noch erregt ist. Aber ist es für uns beide nicht gleichgültig, ob Quiproquo oder schrankenlose Phantasie? Hier geht es nur darum, dass der Alte sich aussprechen muss, dass er nach neunzig Jahren sich endlich einmal ausspricht und laut werden lässt, worüber er die ganzen neunzig Jahre geschwiegen hat.»

– А плéнный тóже молчйт? Глядйт на него и не говорйт ни слóва?

– Да так и должнó быть во всех дáже слóчаях, – опяты́ засмеялся Иван. – Сам старик замечáет Емú, что Он и прáва не имéет ничегó прибавлять к томú, что ужé прéжде скáзано. Ёсли хочешь, так в ётом и есть сáмая основнáя чертá римского католичества, по моемú мнéнию по крайней мёре: «всё, дёскать, пёредано тобою пáпе и всё, стáло быть, тепёрь у пáпы, а ты хоть и не приходи тепёрь вóвсе, не мешáй до врёмени по крайней мёре». В ётом смýсле онй не тóлько говорйт, но и пишут, иезуиты по крайней мёре. Ёто я сам читáл у их богослóвов. «Имéешь ли ты прáво возвестить нам хоть однú из тайн того мíра, из котóрого ты пришёл? – спрашивает Егó мой старик и сам отвечáет Емú за Него, – нет, не имéешь, чтóбы не прибавлять к томú, что ужé было прéжде скáзано, и чтóбы не отнять у людéй свобóды, за котóрую ты так стоял, когдá был на землё. Всё, что ты вновь возвестишь, посягнёт на свобóду вёры людéй, йбо явится как чúдо, а свобóда их вёры тебе была дорóже всего ёщё тогдá, полторы ты́сячи лет назáд. Не ты ли так чáсто тогдá говорйл: «Хочú сделать вас свобóдными». Но вот ты тепёрь увидел ётих «свобóдных» людéй, – прибавляёт вдрут старик со вдумчивою усмёшкой. – Да, ёто дёло нам дóрого стóило, – продолжáет он, стрóго смотря на Него, – но мы докóнчили наконёц ёто дёло во ймя твоё. Пятнáдцать веков мучились мы с ётою свобóдой, но тепёрь ёто кóнчено, и кóнчено крёпко. Ты не вёришь, что кóнчено крёпко? Ты смóтришь на меня крóтко и не удостóиваешь меня дáже негодовáния? Но знай, что тепёрь и йменно ны́не ёти люди увёрены бóлее чем когдá-нибудь, что свобóдны вполнё, а мёжду тем